

Три страницы про любовь, или Портрет в интерьере Полевые заметки о Валентине Губской

Она умеет все.

Наверное, любой ребенок в глубине души уверен во всеилии родителей. Любой ребенок без тени сомнения заявит, что его мама — самая красивая, самая добрая, самая-самая лучшая.

А родителям приходится соответствовать.

Но она действительно может все!

Я никогда не научусь печь такие пироги, как она. Я никогда не научусь так одеваться, как она. И в плане личного обаяния мне до нее далеко. А еще она потрясающе мужественно относится к жизни. Есть в ней такая отвага, такая решимость, что рядом с ней и сам становишься как-то смелее. Внутренняя сила в ней есть, вот что, Стержень.



Как замечательно, что все это — моя мама! Самая красивая, самая смелая, самая талантливая, самая-самая... Да что я вам рассказываю, вы же сами можете на нее посмотреть!

Моя мама — актриса. Я с самого раннего детства знаю запах театра, я живу в его ритмах — между ночными репетициями и утренними спектаклями, между гастрольями и выездами, премьерами и новогодними елками, — я навсегда прониклась философией театра, пропиталась его идеологией, приняла его мифологию как единственно верную модель мироздания. Мы, театральные дети, все такие. Нас так воспитали.

Одно из самых ранних воспоминаний: ночь, горит лампа-ночник, и в ее зеленоватом свете сквозь полудрему я слышу, как мама учит наизусть стихи к новому спектаклю "Парабола". Что такое "парабола", я не знаю, но слово это звучит у нас дома часто, и я запоминаю его. Мама повторяет и повторяет стихи — строфу за строфой, напевно и завораживаю-



ще, и я поддаюсь этому мерному ритму, заучиваю его;

У меня было Слово.
Дорогое Слово.
Синее, как небо в ручье.
Я чего-то хочу, но таю онемело,
А солнце
Висит у берез на плече...

Это был литовский поэт Эдуардас Межелайтис. А потом я заучивала — легко и естественно, как детские песенки — стихи Вознесенского, Левитанского и Бродского. И Клячкин, и Галич, и Высоцкий. Все это привозилось, передавалось в списках и записях из Москвы —

свежее, только что написанное и спетое, запрещенное, но такое важное для всех, необходимое, как глоток воды, как вдох, на глазах становящиеся легендой.

К нам постоянно приезжали шумные энергичные московские гости, и я узнала, что прежде, до моего рождения, мама работала в московском театре, играла героинь и красавиц, ездила с гастрольями по всей стране,... она осталась в Одессе, потому что решила, что так будет лучше для ребенка — для меня, то есть.

Так оно и вышло — для меня Одесса оказалась лучшим и прекраснейшим городом мира, перекрестком цивилизаций и эпох, воплощенной свободой, морской вольницей, той самой провинцией, которую поэт предпочитает имперской столице. А вот маме поначалу здесь было невмоготу. Привыкшая к московским ритмам жизни и работы, она не сразу адаптировалась к курортному стилю родного города. И тосковала, и мучилась из-за творческой невостробованности, и рвалась обратно в Москву — ведь звали и приглашали, знаю! — но всякий раз возникало новое непреодолимое препятствие, и она оставалась здесь.

Но творческая энергия постоянно требовала выхода, воплощения. Театр, киностудия, телевидение, радио — она играла, снималась, "звучала", а помимо плановых работ затевала внеплановые постановки. Так появились роли в "Театральной фантазии", "Свободной паре", "Ресторане

(Я стою у ресторана — замуж поздно, сдохнуть рано)", многочисленных капустниках Дома актера. Да еще киношные роли — у Леонида Павловского в "Эффекте присутствия", у Евгения Соколова в "Игре мимо нот"...

Она удивительно подвижна, не зажата в рамки стереотипов актерской игры, готова на смелые эксперименты и нестандартные ходы. Она умеет доверять режиссеру — при условии, что эксперимент кажется ей оправданным. У нее потрясающий нюх на "живую и мертвую воду" — она мгновенно угадывает талант человека. И так же безжалостно различает фальшь, мертвечину, легко обнаруживая пустышку, завернутую в блестящую упаковку. Помню, как мы с ней впервые смотрели "Иглу" Рашида Нугманова. Вот это да, — сказала она. — Эти мальчишки — гении. А год-то был на дворе — 1987-й! Немногие сумели тогда разглядеть "звезду по имени Цой" в мрачном питерском музыканте. Помню, как она впервые слушала песни Саши Башлачева. Ее не подводит интуиция. Она чувствует главный нерв произведения, магистральную линию личности, и не обращает внимания на условности вроде стиля одежды, социального положения и раскрученности в средствах массовой информации.

А это значит, что ее новые проекты будут интересны публике, созвучны эпохе, современны.

Потому что моя мама не может, не умеет сидеть без дела. Она должна играть, иначе ей срывает крышу. Конечно, в наши дни внеплановые, самостоятельные постановки сталкиваются с массой трудностей — тут и нехватка средств и времени, тут и проблемы с прокатом спектакля, и Бог знает что еще. Но преодоление трудностей — это ее конек! Стоит ей только загореться идеей — она добьется своего. Я думаю, дело тут в ее жизненной силе. А жизненная сила у нее такого качества, что ею можно делиться. Она и делится — щедро и бескорыстно. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Она трижды вытащила меня за уши с того света — вынесла на руках из смерти — и я, тогда семилетняя, поняла: мама заведует спасением жизни. Она, как скорая помощь, приходит на выручку в критический момент. Речь идет не только обо мне. Она постоянно помогает кому-то — ближнему или дальнему, знакомому и не очень, другу и недругу — потому что личные отношения не имеют значения, если человеку нужна помощь!

Что может сказать о матери дочь? Что вообще мы говорим о наших любимых и близких? Почему мы так стесняемся объясняться в любви? Конечно, это дело частное, личное, и негоже выносить его на всеобщее обозрение. Но ведь и в интимной, домашней обстановке все мы так бере-

жем слова любви и благодарности, так никогда не произносим их вслух, что они, слова эти, совершенно обесцениваются в нашей душе, что они, наши близкие, так никогда и не узнают, что мы хотели им сказать, да все ждали подходящего случая.

...А ручей бежал в осень.

Прямо в осень.

И сказал мне снег

О словах, что дороже всех,

И что если мы их вовремя не произносим,

То потом всю жизнь как камень на сердце носим...

Э. Межелайтис

Что я скажу тебе, мама?

Что я восхищаюсь тобой.

Что я благодарна тебе за то, что ты вырастила меня именно такой, какая я есть.

Что ты дала мне ориентиры в жизни — ориентиры, которыми я пользуюсь по сей день, потому что это маяки вечные и неизменные.

Что ты научила меня работать, и любить работу, и наслаждаться процессом больше, чем результатом.

А еще я скажу тебе, что я плакала на спектакле "Стеклянный зверинец", потому что твой голос задевал какие-то внелогические, не поддающиеся определению места души, и обжигал, и причинял боль.

Я скажу тебе, что я счастлива оттого, что ты — моя мама.

И что ты — моя лучшая подруга.

И попрошу прощения за то, что так мало времени провожу с тобой — но ведь ты сама меня так воспитала. Ты сама научила меня работать...

А еще я признаюсь тебе, что мечтаю работать с тобой, писать для тебя пьесы, ставить спектакли и снимать фильмы — пусть не голливудские, но ты ведь любишь внеплановые постановки и андерграунд.

Как трудно быть объективным, когда говоришь о собственной матери! Но, с другой стороны, кто же ждет объективности от человека, говорящего о собственной матери! Перечислить недостатки характера, что ли? Вот так вот не побояться и написать: у нее есть недостатки. Ну, написала — для объективности. Но сама-то ты их недостатками не считаешь. Значит, скажем так — она бывает запелляционной до грубости, она бывает шумной и резкой, как атлантический тайфун. Она — женщина-буря. Она любит

яркие магазины, косметику и красивые тряпки. Она любит американские послевоенные фильмы, цыганскую музыку и легкое чтиво. Как мы вообще находим общий язык? Мама, не смей читать эту дрянь, выбрось телевизор и никогда не смотри эти глупости! А в ответ слышу контраргументы о своем внешнем виде, внутреннем мире и образе мышления. Но это к делу не относится, не мои ведь недостатки стоят на повестке дня. Ну-ка сосредоточься и придумай еще парочку каких-нибудь эдаких возмутительных черт характера, чтобы портрет вышел реалистичным и объемным. Например, сколько можно болтать по телефону. А потом справедливости ради расскажи о наградах, дипломах и званиях, о всяких знаках отличия, которых у нее полно, чтобы...

Не буду я этого делать.

...И ветер сбросит со стола
Буханку хлеба и бутылку молока.
Был душный летний вечер. Ты пришла,
Укутав плечи крыльями платка.

Сказала: будет дождь. Твоя рука
Белела в сумерках, и молоко белело,
И стало ясно, как непрочно тело,
И что любовь моя, как смерть, крепка.

Прохладой веяло от ясного чела,
Покоем веяло от тихих рук и речи.
И стало ясно, что такое вечность,
И что у вечности два шерстяных крыла.

Мне кажется, что в этом стихотворении я наиболее полно сумела выразить свое отношение к героине моего непутевого очерка. Видите ли, я давно обнаружила одно странное обстоятельство. Настоящее, подлинное общение матери и ребенка — неважно, четыре года ребенку или сорок, — происходит словно бы на отдельной, обособленной планете, куда посторонние не допускаются, да еще и на самостоятельном языке, абсолютно недоступном непосвященному. Внешние проявления такого, я бы сказала, сакрального общения сплошь и рядом не соответствуют внутреннему содержанию.

Помню десятки ее рассказов о детстве, о послевоенной Одессе. О, ма-



ма никогда не была тихим домашним ребенком! На старых фотографиях — замурзанный большеглазый пацаненок сосредоточенно соображает, как бы улизнуть из кадра. Я знаю историю о доске, перекинутой с одного углового балкона на другой — по ней мама удирала из запертой квартиры на улицу. Помню рассказ о водосточной трубе, по которой спускались из кабинета физики — с третьего этажа. Помню захватывающий детектив с расследованием о колесе на втором кладбище, куда бегали подкормиться голодные послевоенные дети... я слушала эти истории и проникалась духом своего города, потому что

настоящая, живая Одесса вставала во всей своей красе именно там, на полуразрушенных улицах пятидесятых, на "Бродвее" и "Гапкин-стрит" шестидесятых, на ночных репетициях в Доме актера семидесятых...

Из этих рассказов, как из античных черепков, сложился в моем сознании образ Города.

Я всегда нахожусь на одной планете с мамой.

Что же будет дальше? Новые спектакли, новые роли, концерты, съемки. Новые удачи, новые зрители, новые пьесы и режиссеры. Новые победы на поприще председателя профкома — надо ремонтировать крышу на родном ТЮЗе и добывать денег на постановки. Все как обычно.

А я хочу, чтобы она была счастлива. Слышишь, мама, я хочу, чтобы ты была счастлива! Я хочу, чтобы она увидела Париж и Флоренцию, чтобы накупила себе красивых дорогих тряпок у Баленсиага и Нины Риччи, чтобы посмотрела спектакли знаменитых маленьких театриков Дании и Швеции. Я хочу, чтобы для нее было доступно то, чего она давно заслуживает. Мама, я хочу подарить тебе весь этот мир со всеми его чудесами.

Мама, я люблю тебя!